

*Фигль-Мигль*

# КОЛДУНЫ

(«Эта страна» волюм два)



ЛИТЕРАТУРНАЯ МАТРИЦА  
Санкт-Петербург

# 1

«Победоносцев!» Я ни слова. «Победоносцев, вставай!» Молчу. «Обер-прокурор! Действительный тайный советник! Член Государственного совета! Сенатор!» Нет, о нет. Дудки. «Константин Петрович! Россия гибнет!» Да что, говорю, и не такие царства погибали. Однако встал.

Из зеркала на меня смотрел взъерошенный русский юноша, сероглазый, курносый, с лицом приятным, но незначительным и без того добродушия, которое заставляет мириться и с пустыми, недалёкими людьми. Насколько показывало зеркало, на нём не было даже исподнего. Мы находились в уборной, чистой, опрятной, но невообразимо, кукольно крошечной. Все предметы, которые я никогда не видал собранными вместе, были здесь стиснуты, как корзины в кладовой прасола: ванна, watercloset, поставец, полотенца на стальной рогуле. Назначение их я опознавал, вид был непривычен.

Откуда-то я знал, что молодого человека зовут Васей.

Я обдумал, как взяться за дело, и прямо и просто сказал:

«Вася! Меня зовут Константин Петрович. Я твой внутренний голос».

– ...Не понял.

«Внутренний голос. Даймон, как у Сократа».

– Чего?

«Я Победоносцев».

– Кто?

Вот как, подумал я. *Всё великое земное разлетается, как дым.*

«Константин Петрович Победоносцев. Надежда тёмных сил. Кошмар русской жизни. Проводник обскурантизма, стеснения, лжи. Угнетатель правды и свободы. Злой гений и палач общественности. Серый кардинал. Мозг реакции. Бюрократический вампир. Никон в вицмундире. Кощей православия. Торквемада. Великий Инквизитор. Русский герцог Альба. Истинный нигилист; отчаянный фанатик. Враг всякого движения вперёд, гаситель всякого света; с юных лет мумия. Казённый и деревянный. Иезуит, поповская кровь, скопец, импотент, старая девушка. Нелепый мираж. Сумасшедший. Лампадоносцев, Бедоносцев, Доносцев, Мельхиор, Копроним. Чёрный колдун, паук, вурдалак, летучая мышь, бледный как покойник. Тайный правитель России».

– ...Я знал, что не надо с этими таблетками связываться. «Попробуй, попробуй пару штук под вискарик!» Да, блядь, попробовал. «Копро...» что?

«*Копроним* по-гречески означает “соименный навозу”. Это прозвище византийского императора-иконоборца Константина Пятого».

Прозвище пустил Третий, который мнил себя первым на Руси церковником. Что Третию Филиппову, выблядку ржевского почтмейстера, даже Московский университет кончившему с грехом пополам, знать о византийской истории! «Нечестивейший Константин, предтеча антихриста» был властитель, который за пределами империи успешно боролся с арабами и болгарами, а внутри – с греческой узо-

стью и политическими притязаниями монахов; поощрял переселение славян в Малую Азию, поставил на место монастыри.

– Ёб, что со мной...

«Вася, как не стыдно? Где у тебя мыло? Так... возьми стаканчик. Наболтай раствору. Молодец. Теперь прополощи рот».

– Как же это я буду рот мылом полоскать?

«Да вот как говорил грязное слово, так и положи».

– Ага, сейчас. Разбежался. Ой-ой-ой! Больно!

«Всякий раз, как ты меня слушаешься, у тебя будет мучительно болеть голова. Вот так».

– А-а-а!!! Перестаньте, Константин Петрович! Полощу, полощу! Бэ-э-у!

«Жаль, что меня нет в пространстве. Ты бы смог убедиться».

– Вас вообще нет. Вы наркотическая галлюцинация.

«Можешь не разговаривать со мною вслух. Я и мысли прекрасно слышу».

– Все?

«А ты уже злоумышляешь?»

Я не мог читать его мысли, те, которые он не обращал ко мне. Уже потом оказалось, что в попытках обмануть он неуклюж, забывчив, не умеет разом держать в уме ложь вчерашнюю и новую, хитрит бесцельно, по инерции ленивой души, или ради неважной, мгновенной и почти всегда мнимой выгоды. Отчасти это перекрывалось нахальством, упорством, уверенностью в своём праве лгать. Его легко было вывести на чистую воду и трудно – заставить сознаться.

Как и он сам, я не видел его лица без зеркала, но зеркалом становились запинки, увёртки, излишний напор. И не только со мной. Даже люди, с которыми

он был хорош, как я слишком быстро имел случай узнать, страдали от его – не знаю другого слова – бесстыдства.

«Где ты служишь, Вася?»

– Я не служу. Я работаю.

Некстати мне вспомнилось удивление старика Бекетова на слова о том, что министры завалены работой: *Да что они там работают? Дрова, что ли, рубят в кабинете своём?*

«Да? И в каком министерстве?»

– Уж сразу в министерстве! Все министерства в Москве. А я так, в районной администрации.

«Что, даже не в канцелярии генерал-губернатора? ... Подожди, что значит *в Москве?*»

– То и значит. Вы что, с луны свалились? Не слышали, что главные органы государственного управления находятся в столице? А туда же: я тайный правитель России! я, бля, Константин этот самый! Не нужно, я же стараюсь! Нет!!!

«Берись за мыло».

Случившееся было для Васи потрясением, но и для меня тоже. Я рассчитывал на хотя бы губернатора, министра. Я не рассчитывал попасть в дразги с испорченным мальчишкой. И уж тем более – очутиться в Петербурге, который без своих министерств, и Государственного совета, и Государственной думы, и, полагаю, двора, и, стало быть, гвардии, и бог весть чего ещё прежним Петербургом быть не мог.

Сердцу моему отчасти было сладко. Ненависти к творению Петра я никогда не скрывал. *Петербург есть местопребывание двора, чиновников, войска и иностранцев.* Не один я, все мы, московские, не терпели этого города, из которого выходит всё зло на Россию. Бездушный, безлюбый, суетный, город этикета и эго-

изма, город полиций, канцелярского беспорядка, лакейской дерзости, жандармского ража – и в укор ему милая, тёплая Москва, где всё родное и намоленное, эти церкви, монастыри, сады, луга, кривые улочки, помещичьи усадьбы; Москва моего младенчества, не слышавшая о полноценном водопроводе, газовых фонарях и порядочных тротуарах, ещё в чём-то фамусовская, ещё дворянская, ещё полная преданий александровской эпохи и войны, хлебосольная, невинно-самодовольная, простодушная, живущая на покое, *домом и бафином*; и здесь же обломки екатерининского века, *богатая руда оригиналов-самородков*; город штатский, подраспущенный, капризный, не привыкший к дисциплине; *в Москве просторно*; и Москва, куда я вернулся в сорок шестом молодым правоведом, публичные лекции в строгановском университете, «Москвитянин» Шевырёва и Погодина, молодой кружок славянофилов, их клич *Да здравствует Москва и да погибнет Петербург*; Хомяков, диалектический ратоборец; *очень рад, что нашёл поприще бесконечное для своего игривого ума*; Чаадаев, *красивый идол строптивых душ и слабых жён*, битва его с Вигелем за первенство среди московских умников и *почётное место*; семисотлетие Москвы, когда были запрещены любые публичные чествования; скандальное убийство Луизы Симон-Деманш; и Москва пореформенная, купеческая, всё громче заявляющая о своих правах, Москва Каткова, Москва протянувших свои щупальца раскольников, Москва фабрикантов, коммерческих банков, торгово-промышленных съездов и экономической оппозиции, которая закончила прямой поддержкой пресненских мятежей девятьсот пятого года. Да, вот чем закончилось.

Вася между тем воспользовался затишьем. Стараясь не привлекать моего внимания, он поел и оделся

(в таком порядке), подхватил портфель (ох, не берёт мой Вася бумаг на дом), таясь, позвякал ключами и так крался вниз по лестнице, словно взаправду верил, что меня можно оставить за запертой дверью.

Во дворе (не двор, но и не улица, не разберёшь что; очень много деревьев, кусты, цветники, лето в цветении, июнь или июль, ни одного дровяного сарая) он расправил плечи и задышал свободнее. Тут-то я его и огорошил.

«Это где же мы? Потихе, голубчик, ты так без головы останешься».

– На Охте.

«И не говори со мной вслух, это производит неправильное впечатление».

– Может, как раз правильное? Может быть, я с ума схожу?

«Нет, Вася. Ты просыпаешься. Перед тобою великое поприще. Подумай о России».

– Опять? Константин Петрович, я жить хочу, а не Россию спасать.

«Ну полно, что за ребячество. Ни тебя, ни меня никто не спрашивает».

– Но почему я?

Действительно, с чего бы это. Я его уже напугал – и чего добьюсь, прибавив к страху оскорбление. Вот скажу я ему: Вася, я смущён и озадачен не меньше твоего. Ты человек маленький, ничтожный и дурно воспитанный; вдобавок мне с тобой уже скучно. Его это, вероятно, обидит, как обидела Макара Девушкина гоголевская «Шинель». Щекотливость маленьких и ничтожных, столь восхваляемая нашей безумной литературой, есть свидетельство не каких-либо тонких чувств, которых вовсе не в этой полуобразованной и жеманной среде нужно искать, а одного малодушия.

«Этого я не знаю».

– Да что вы вообще знаете.

«Ничего, что было после 1907 года».

– ...Это же больше ста лет!

«*Сто лет* только звучит страшно».

Эти расстояния невелики. Мой отец дружил с Каченовским и хорошо знал Мерзлякова; Каченовский родился, когда ещё были живы Вольтер и Руссо, Мерзляков мальчиком в Перми видел людей, помнивших самосожжения; я сам, если глядеть в другую сторону, жил при четырёх императорах; на моих глазах появились железные дороги, электричество, автомобили, дамы-велосипедистки и телефоны.

«Эти расстояния невелики. При мне изобрели телефон, а мой отец хорошо знал Мерзлякова».

– ...

«Как же это вы Мерзлякова забыли? Знаешь песню “Среди долины ровныя”?»

– Нет.

Среди долины ровныя,  
На гладкой высоте  
Цветёт, растёт высокий дуб  
В могучей красоте.  
Одних я сам пугаюся,  
Другой бежит меня.  
Все други, все приятели  
До чёрного лишь дня!

– Нет, Константин Петрович, пожалуйста, не пойте. И помолчите хоть немного, мы уже пришли.

Я-то могу помолчать, говорил Лев Тихомиров, да сам вопрос не замолчит.

Мне не понравилось.

Швейцара не было; рассыльных не было; атмосферы *хорошей* канцелярии не было; а увидев Васин закуток, я оторопел.

– Вот. Мой кабинет.



«Это, Вася, не кабинет, а какая-то французская каморка».

Я любил наши огромные, скучные, голые кабинеты с репсовой мебелью и письменными столами размером в добрый бильярд. За которыми, да, мы именно что *работали*, по двенадцать – четырнадцать часов в день; потяжелее порой, чем мужики. Трудолюбие было едва ли не самым распространённым качеством среди министров Александра Третьего. Граф Дмитрий Андреевич Толстой не мог усидеть спокойно, пока на его столе оставалась хотя бы одна непрочитанная бумага; Бунге вообще неизвестно когда спал – и Вышнеградский, и Витте после него; *огненный стул русского министра финансов* со времён Канкрин не был синекурой. Вышнеградский поехал с дежурным докладом в Гатчину на другой день после удара, потому что считал это своим долгом; Витте тогда исхитрился предупредить государя, и государь Александр Александрович весь доклад промолчал, *я ни одного слова не говорил, чтобы его ещё больше не нервировать, чтобы он был покоен. Он сделал доклад и ушёл, и когда уходил, немножко шатался.* Плеве, при его исключительных познаниях и памяти, работал каторжно, без отдыха, вникал во всякую погрешность или неточность. Да что там! Даже в предыдущее царствование Дмитрий Милютин набрасывал резолюции так подробно, что их оставалось только перебеливать, а Валуев, пока был министром внутренних дел, лично состоял в переписке со всеми губернаторами.

Бедный мой Вася задатков министра в себе не имел. Какое-то время он сидел за своим столиком, глядя в стену, потом привёл в действие некое устройство и стал глядеть в него. Я тоже глянул.

Мне ли не узнать входящие-исходящие, в каком бы то ни было новом странном обличье, *чёрную магию приказного дела!*

И приказного слога, приходится добавить. Не на пустом месте возник знаменитый постулат «трудно так рассказать, а написать легко». Мои товарищи-правоведы, свежие после выпуска, с ужасом обнаруживали, что у них нет средств выбиться из этой колеи, не употреблять заученных форм в бумагах и лгать безбожно; белоручка Герцен зло смеялся над чернильными душами, *чернильными гадюками*; сколько раз я сам видел, как всякую ревизию погребали под собой кипы неисполненных или неправильно исполненных бумаг.

«Помочь?»

Вася подскочил:

– Да не мешайте вы мне!

«Ты всё равно ничего не делаешь».

– Я думаю!

«Думать отныне буду я».

– О судьбах родины? – поинтересовался он довольно ехидно.

«А как, по-твоему, это должно выглядеть? Ну, где здесь начало, где конец? Что за гаражи?»

Вася застонал и зажмурился:

– Нет, это невыносимо! Если ещё и вы! С этими блядскими гаражами!

«Вася!»

– Что «Вася»?! Здесь мыла нет, садист проклятый! Ой! Нет, не надо! Помогите!

«Тише, успокойся. Сбегутся сейчас».

– За что вы меня тираните, Константин Петрович? Что я вам сделал?

«Успокойся, говорю. Попей водички. Где у тебя?»

– Это идти надо. – Он встал. – Может, и правда. – *Сам себе, с надеждой.* – Хлопну кофейку, в голове и прояснится... Если что, так и в дурке люди живут.

По звуку голосов я предположил, что комната полна народу, причём дело у них прямо идёт к рукопашной, увидел же цветы в горшках, диван и чайный столик – ни одной живой души. Голоса не унимались.

«Вася, ну-ка обернись».

На стене висела... висело нечто. Сперва я принял это за картину, потом – за раскрашенную фотографию, потом обнаружил, что фотография говорит и движется и именно люди на ней производят весь шум. Должен сказать, далеко им было до иных заседаний в Комитете министров, когда генералы и тайные советники начинали переругиваться и говорить друг другу глупые дерзости. Хороши наши ребята, только слава их дурна.

Всех наконец перекричал плотный буйный армянин, из речей которого я понял, что восточный вопрос и через сто лет остался где был.

Я ещё послушал и сказал Васе, вертевшему в руках белую чашку:

«Не иначе в него граф Игнатъев вселился».

Николай Павлович Игнатъев провёл свою служебную жизнь под девизом «Знай наших!». В Китае он обдурил лорда Элджина; русским послом в Константинополе выезжал в Порту при всём параде, в коляске, запряжённой четвёркой, с конвоем; свита в полной форме в двенадцати экипажах, ординарец-болгарин в роскошном восточном костюме, огромного роста, увешанные оружием черногорцы на охране посольского дворца; сам этот дворец, видный далеко с моря, и над ним русский двуглавый орёл, широко простирающий крылья над городом; а чуть стемнеет, туда же пробираются под покровом темноты тёмные люди, авантюристы, агенты, проходимцы, политические интриганы; Солсбери сказал Игнатъеву за обедом: говорят, вы ужасный

человек, у вас множество шпионов по всему Востоку; ответ Игнатьева: у меня действительно много помощников из числа борцов за свободу; русский посол всё всегда знал первым и лучше многих, никогда не жалел собственных денег, никогда не бегал ответственности; *инструкций мне не нужно, но их и никогда не дождёшься*; неколебимо верил в свою звезду; неустанно трудился; первый трезво взглянул на *братушек*; автор, как-никак, Сан-Стефанского мира (урегулировал дело на английский манер, поставив всех пред свершившимся фактом); и он сам, некрасивый, маленький, с большим широким лицом, рядом с деревянной своей Екатериной Леонидовной, солидарной с ним, впрочем, в тщеславии и честолюбии; она – любезная, с каменным сердцем, он – смешной, живой, враль; бельмо на глазу у Горчакова. Валуев говорил: князь Горчаков болен отчасти подагрой, отчасти Игнатьевым. Иван Аксаков противопоставлял его Бисмарку.

Там, в Константинополе, Николая Павловича называли *москов-паша* и *вице-султан*, а здесь, в Петербурге, – *брехун-пашой* и *королём лжи*. Турецкие министры его откровенно боялись, а старая бандерша генеральша Богданович величала уродом и «фокусником», и сам Богданович, уличённый мошенник, распутник и вор, *фыльце во всех пушках, в какие могло попасть*, не упустил случая высмеять; и как здесь же в восемьдесят первом году все за ним, не переставая смеяться, бегали. Да, была у графа Игнатьева склонность: лгал, как птица поёт, собака лает, без малейшей нужды и расчёта, даже во вред себе; человек, сплетённый из интриги, прожектёр, болтун, Ноздрёв, российский Тартарен, и всё же *очень* умный, *очень* русский человек, не из чистого металла, даже и весь из лигатуры, но звенело, звенело в нём серебро русского инстинкта, и кто из знавших забудет

очарование его живой речи, меткость словечек, юмор!.. Его безумная затея с Земским собором много испортила мне кровь; но что он не удержался в министрах – не моя вина и не моя заслуга. Государь, хотя и вынужден был отправить его в отставку, дал разрешение подавать записки, и Николай Павлович ещё какое-то время куролесил. Потом он вдался в финансовые авантюры, столь же фантастические, как его политические прожекты, и жизнь кончил полунищим – единственный член Госсовета, на чьё жалованье наложили арест.

«Пусть это будет тебе уроком, Вася. Свои страсти нужно держать в узде».

– Константин Петрович! На... простите... на... простите... на черта мне всё это знать?

«Чёрта не поминай».

– Да что ж вы придираетесь! Как мне тогда вообще говорить?

«Вежливо, по существу. И вовсе тебе не обязательно говорить, пока я не спрашиваю».

– ...А можно мне, наконец, выпить кофе? Или так и будем в телевизор пялиться? Не выношу уродов.

«Кто они?»

– Политологи, то-сё. Депутаты думские.

«...А ты в каком чине, Вася, чтобы кофе в присутствии пить?»

– Чего?

«Титулярный советник, не больше».

– Чего?

«Ладно, пей».

– Соизволили! Премного благодарен!!!

Вася сердито застучал посудой, довольно безобразной. Кофе он не молот и не варил, кипяток взял из – назовём это так – титана. Праведный гнев во всех его движениях мало-помалу сменился угрюмой назидательностью.

«Ну и что ты дуешься?»

– А то, что я не хочу вам подчиняться!

За какие грехи ты мне достался, такой глупый, подумал я.

«Подчинение подчинению рознь. Можно подчиняться как раб, вместе трусливый и негодующий. Или монах – со смирением и верой. Солдат, офицер –»

– Или собака жучка!

– Васька! Ты чего там под нос бормочешь?

Вася неохотно обернулся на звонкий девичий голос.

– Ещё и ты.

– И тебе здравствуй.

Всё, что я успел сегодня увидеть по дороге в управу и в ней самой, подготовило меня к встрече с Екатериной Шаховской только отчасти. Стриженные женщины, простоволосые женщины, размалёванные женщины, женщины в тесных мужских панталонах, женщины с такими подолами, что стыдно взглянуть, женщины, отдающие распоряжения, были теперь повсюду. Шаховская была и стриженная, и растрёпанная, и в невообразимых штанах, но повеяло от неё амазонками, великими императрицами прошлого, а не той эмансипе, которая так пугала князя Одоевского. *Эмансипированная женщина, стриженная, в синих очках, неопрятная в одежде, отвергающая употребление гребня и мыла и живущая в гражданском супружестве с таким же отталкивающим субъектом мужского пола или с несколькими из таковых.* И бедный князь добавлял: «Да от них должно вонять нестерпимо».

От этой, по крайней мере, пахло приятно, каким-то слабым одеколоном. И милое скуластое лицо портил только прямой неженский взгляд; весёлые, наглые и безжалостные глаза. У генерала Скобелева были такие.

– Шаховская, шла бы ты своей дорогой. Нет у меня комментариев для прессы.

– Как жаль. Твои комментарии – любимое лакомство моих читателей. Как ты там про гаражи сказал? «Администрация не желает идти под суд из-за чьей-то гнилой картошки».

– А что ещё я мог сказать? Я юрист или кто? Гаражи стоят на законных основаниях. Устранить законные основания может только политическая воля. Эти идиоты, инициативные граждане, требуют политической воли от *меня*? Да? Чего б им самим тогда не подогнать втихаря бульдозер и снести всё, что не нравится?

– Нет, в таком смысле они не идиоты.

– А, так это, видимо, я идиот!!!

«Вася, Вася, – сказал и я, – тише, успокойся. Кричишь, как уличная. Разберёмся мы с этими гаражами. Надо разобраться. Я помогу».

– Не надо, Константин Петрович, – сдавленно сказал Вася и затряс головой. – Я не вынесу.

Шаховская посмотрела на него с неожиданным сочувствием.

– Мне тоже с утра не по себе. – Она помолчала, словно прислушиваясь, сморщила нос. – Нет, это ни к чему. Нет, это я не тебе. Скажи мне, Василий, где сейчас Фома?

– А я знаю? У себя или по району скачет. Тётки из КДЦ недавно смеялись: с утра едва дверь откроют, а он уже стоит на пороге и проверяет. Э, об этом писать не вздумай.

– Фома уехал в Смольный.

– Но он сейчас не ездит в Смольный. В смысле, только на совещания.

– Вот именно. Ни с того ни с сего. И это открывает простор для домыслов.

– Не хочу я никаких твоих домыслов! Дай мне спокойно жить!

– Скучный ты, Васнецов, как репа. Не хочешь блестящей борьбы и пламенных порывов. Родился мелким служащим. Им и померёшь.

– Да! И прекрасно! Зато в глубокой старости.

– Ты уже в глубокой старости.

И опять она ненадолго застыла, сердито хмурясь. Ага, голубушка, подумал я. Интересно, кто там у тебя? Генерал Фадеев, авантюрист? Иван Аксаков, лже-рыцарь? Ренегат Тихомиров? Жалкий, если нужно ограничиться одним словом, князь Мещерский? Блестящий негодяй Сергей Татищев? Не приведи боже Катков? Никого из них я не желал себе в помощники.

Я ничего не знал о новом веке, но решил не форсировать. Что такое КДЦ, кого Вася вульгарно называет «тётками», кто есть Фома и при чём тут Смольный институт – всё со временем прояснится. Характер человека всегда важнее обстановки, в которой этот человек действует.

– Что же ты не спросишь, что мне надо от Фомы?

– Ничего не хочу знать.

В характере Васи я уже начинал разбираться.

«Зато я хочу», – сказал я.

Но и Шаховская привыкла игнорировать Васины хотения.

– Боюсь, стыжусь, исчезаю, – невозмутимо сказала она. – Слушай внимательно. Пришла мне мысль взять вашу заунывную газетку в свои умелые руки. Вдохнуть в неё новые... ну, что-нибудь вдохнём. Борьбу и порывы. Типа «где ж луч, где заря, где варвары». Их нет! А без варваров что делать?

– ...Нашу газетку? Это в которой объявления про субботники и встречи ветеранов?

– Видишь, сколько всего не хватает. Например, передовиц.

– Ой, ну представляю, что Фома скажет. Мало, что он от твоего блога на стенку лезет?



– Да, журналистские расследования – мой конёк. Но теперь я хочу писать передовицы.

– ...А от меня что нужно?

– Ничего. Ты – пробный камень, на котором я оттачиваю приёмы обращения с бюрократией. ...Про варваров не буду ему говорить. Не оценит.

– Как будто он оценит всё остальное.

– Медленно думаешь. Про Смольный я кому говорила?

– Его туда возьмут так и так. Рано или поздно.

– Держу пари, он решил, что лучше рано. И не «так и так», а с фанфарами.

– И с твоей помощью?

– Не язви. Власти необходима правильная поддержка прессы.

Дурочка ты моя, подумал я, да кто ж тебе такое сказал? Мы ли не нахлебались от этой «правильной поддержки» и было ли в мире хоть одно правительство, не помечтавшее хоть раз о полном истреблении печати, равно дружественной и враждебной.

Печать! *Кулачное право образованных народов!* Пусть лают на нас, им же хуже, бросил император Николай Первый, когда ему предложили отвечать на ругательства заграничных журналистов. *Кроме того, что считаю сие ниже своего достоинства, но и пользы не предвижу; мы будем говорить одну истину, на нас же лгут заведомо, потому неравен бой...* Через двадцать лет объявился Катков и сказал: нет, отчего же, давайте попробуем. Я не отрицаю его великой заслуги перед Россией во время Польского восстания, когда не только общество растерялось, но сама власть искала идейного руководства; зато же потом этот бесконечно самолюбивый, властный, обуреваемый страстями человек превратился в какого-то буйнопомешанного, опьянённого собственным влиянием, увидел в себе священного руководителя общественным

мнением, осмелился написать новому царю: *в моей газете не просто отражались дела, в ней многие дела делались*; возомнил себя единственным защитником трона и Кабинетом министров в одном лице; «одобрял» или «не одобрял» нашу политику, не понимая, что в газетном фельетоне неуместно давать советы монарху о наилучшем усовершенствовании правительственного механизма; и при всём том ловкий, наглый делец, выжига, интриган, неблагодарный, с гадкой улыбкой, не гнушавшийся слыть приятелем таких лиц, как Цион или генерал Богданович. Хорош столп государственности! За одно то, что он впутался со своими интригами, пытаясь разрушить российско-германский союз, его следовало повесить.

А другие? Иван Аксаков с «Речью»? Вово Мещерский с «Гражданином»? От косноязычных разъяснений «Правительственного вестника» было меньше вреда, чем от этих независимых союзников власти, и они же ещё и обижались. Аксаков и его сторонники сделали всё, чтобы втянуть нас в бессмысленную войну, и не успокоились после, науськивая графа Игнатьева подать его чудовищный проект, и ещё потом, в связи с грязными болгарскими делами, а когда у царя лопнуло терпение, на всех углах стали кричать, что пострадали только за то, что пытались помочь правительству. Конечно, Иван Аксаков был всё-таки человек с опытом государственной службы и не жил в таких фантазмах, как покойный его безумный брат – маскарадный мниморусский костюм, широкая татарская рожа, кулак в арбуз, тосты да возгласы; вряд ли, кроме «долой», знавший какое другое слово. И даже Иван Аксаков уповал на «общественность», тогда как вся наша общественность была – заговорщики из Яхт-клуба в противостоянии мудрецам из Царёвококшайска. *Да разве, говорил государь, газетные толки – общественное мнение?*

И всё это в эпоху господства журналистики, которая знание и труд заменяла задором и верхоглядством; лавочек под фирмою журналов; мирно-революционных газет; посреди *лживых* речей о *правде*, скверных слов и скверного молчания; редакций, пропитанных духом хамской фронды, кружковой нетерпимостью, личными счётами и поверх всего – произволом, когда вашу мысль фильтруют сквозь мозги нескольких идиотов; совладать с подобной клоакой! *влиять!* Разве что Бисмарк, этот великий мастер фальсификации, умел, даже и виртуозно, управляться с прессой, потому что знал ей цену до грошика и добродушно, если такое слово применимо к Бисмарку, презирал.

– Я не могу! Не могу! Кому всё это надо!

«Вася, не вслух. А надо это в первую очередь тебе».

Мы уже вернулись в свой кабинетик. Вася плотнее прикрыл дверь.

«Мне не может быть надо, если я знаю, что не надо! Никакому нормальному человеку! Бисмарки, насморки... Ох бя... то есть боже мой...»

«Понятно. Что ж, давай займёмся твоими гаражами. Поехали посмотрим».

«Зачем? Вот у меня всё в компьютере».

Я уже вдоволь налюбовался пишущей машиной двадцать первого века, орфографией двадцать первого века и всё той же извечной мелкочиновничьей неспособностью грамотно составить бумагу.

«У тебя и год назад всё было в компьютере. Сам говоришь, не сильно воз сдвинулся».

«Да никогда он не сдвинется! Они будут писать и писать. Нам, в прокуратуру с жалобой на нас, губернатору, царю... Идиоты, отвечаю!»

«...Я правильно тебя, Вася, понял? В России сейчас есть царь?»

«...Ну такой, неформальный».

«А формально он кто?»

«Президент».

«Пожизненный?»

«Трудно судить. Он же ещё не умер. ...Константин Петрович? А вы, может, новая разработка ФСБ? В тестовом режиме? Ну типа для выявления пятой колонны и чтобы нейтрализовать превентивно? Так я абсолютно патриот. Выборá там, георгиевская ленточка, никаких демонстраций. Крым наш! «Фейсбук»\* – фашистская организация».

«...Нет. Что бы ты ни имел в виду, я не чья-то *разработка*. Безобразное слово, тебе не кажется?»

«Не безобразнее другого, что они вытворяют. Ой, бля, боже, я не это хотел сказать. Клянусь, клянусь, со всем уважением!»

«Вася, мы должны доверять друг другу».

«Ага. Конечно. Вот разработка именно так бы и сказала. Ну почему, почему я?!»

Посмотреть на гаражи мы, разумеется, поехали. В *маршрутке* Вася вынул из кармана очередное устройство и уткнулся в него. Я не стал ему досаждать, хотя и предпочёл бы глядеть по сторонам. Не то чтобы мне *хотелось*. Сколько помню, я не бывал на Охте, а если и бывал, только на похоронах. Так и представляю её: стороной кладбищ, огородов и фабрик.

Ржаво-грязные, крашеного железа гаражи, похожие на жестяные банки, были втиснуты между обшарпанными, похожими на пятиэтажные каменные бараки домами. На сером асфальтовом пятачке перед ними стоял неказистый автомобиль. Двое иностранцев неторопливо выгружали серые мешки.

---

\* «Фейсбук» принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, её деятельность на территории РФ запрещена.

«Ну вот. Прибыли. Поглядели. Много увидели?»

«Кое-что. Не иди туда. Встань поодаль. Да-да, чтоб тебя не видели».

Подъехала ещё одна машина, больше отвечающая моему представлению о роскоши. Из неё вышел господин в серой паре.

Так появляется злодей в нашей пьесе.

Он оказался ещё молодым, отлично одетым, невысоким, улыбчивым, с бесхитростными (будет время их разглядеть) глазами. Опасные глаза: то серые, то серо-жёлтые, всегда смеющиеся.

Ах ты ухарь-купец, подумал я. Разбойник с большой дороги.

**КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА**